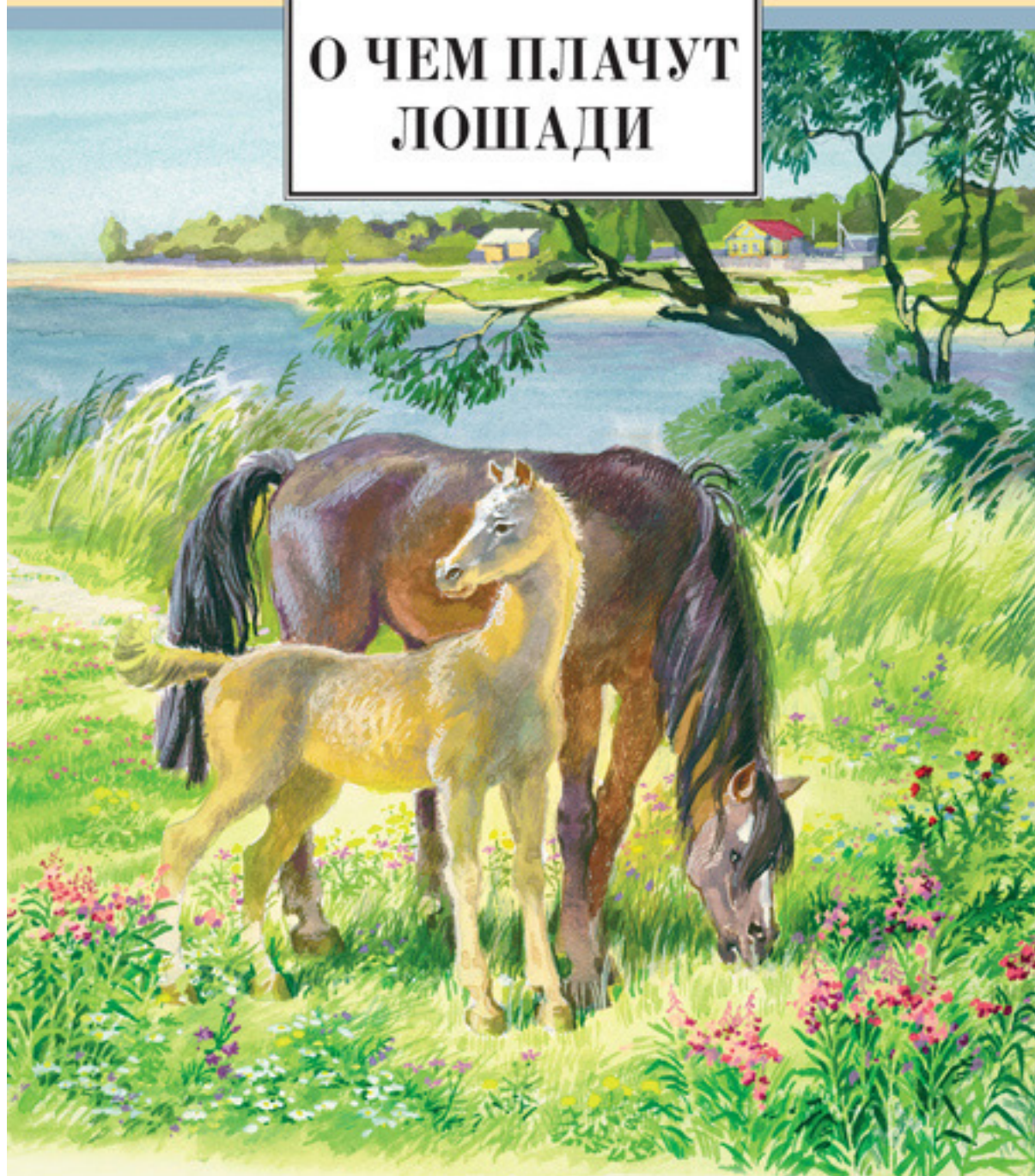


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Федор Абрамов
О ЧЕМ ПЛАЧУТ
ЛОШАДИ



Школьная библиотека (Детская литература)

Федор Абрамов

О чем плачут лошади

Издательство «Детская литература»

2002

УДК 820/89-93-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Абрамов Ф. А.

О чем плачут лошади / Ф. А. Абрамов — Издательство «Детская литература», 2002 — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 5-08-003981-7

В книгу входят рассказы известного писателя о людях современной деревни, об их проблемах, заботах и радостях.

УДК 820/89-93-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 5-08-003981-7

© Абрамов Ф. А., 2002
© Издательство «Детская
литература», 2002

Содержание

О Федоре Абрамове, его земле, его рассказах	6
Последняя охота	15
1	15
2	18
3	21
4	24
5	26
6	27
7	29
Однажды осенью	31
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Федор Александрович Абрамов

О чем плачут лошади. Рассказы

© Издательство «Детская литература» Оформление, сост., 2002

© Ф. Абрамов. Текст, наследники

© В. Акимов. Предисловие, 2002

© А. Милованов. Рисунки, 2002



Ф. Абрамов

1920—1983

О Федоре Абрамове, его земле, его рассказах

Почти все, о чем вы прочитаете в этой книге, произошло в родных краях писателя Федора Абрамова, на северной пинежской земле. Слово «произошло», конечно, не нужно понимать буквально: будто столкнулся писатель с интересным случаем и в точности перенес его на бумагу. Настоящий художник не списывает с натуры, он преображает в своей душе все впечатления бытия, собирает в незримом фокусе то, что рассеяно вокруг. Живая многоцветная народная речь, голоса, краски и запахи северного леса, трудные и в чем-то самом главном похожие человеческие судьбы, разные характеры – суровые и страстные, твердые и бесконечно нежные и ранимые, отчаянные и бесшабашные, стойкие и увлекающиеся, жадные к жизни и готовые на любое самопожертвование – все это с детских лет впитывалось, накапливалось в душе художника и стало источником его прозы.

Федор Александрович Абрамов родился в 1920 году в большом селе Веркола, на Пинежье. Пинега – лесная извилистая река, самый большой приток Северной Двины. Почти на три километра по ее гористому правому берегу, «угору», как говорят в тех краях, протянулась Веркола, деревня древняя, многовековая. В ней до наших дней сохранились потрясающие воображение крестьянские дома-хоромы, сложенные из необхватных бревен лиственницы. С иных крыш глядят вдаль потемневшие от времени деревянные кони.

С высокого веркольского берега видно далеко-далеко: внизу зеленые травы поймы, желтый песок Пинеги, за камнистыми осыпями противоположного берега встают белые стены древнего Веркольского монастыря – в давние годы одного из крупнейших на Русском Севере средоточений культуры. А поверх всего – бесконечные зеленые и синие волны лесов.

Но не только своей неповторимой природой замечателен архангельский Север.

Эта земля издавна была передним краем русской национальной активности; веками шло освоение этих трудных, суровых краев: здесь через северные порты – задолго до Петра – было прорублено «окно в Европу», отсюда русские отряды двигались по бескрайней нашей стране дальше на север и на восток. Ерофей Хабаров, Семен Дежнёв и многие другие отважные исследователи и первооткрыватели, чьи имена на карте нашей Родины, – сыны Архангелогородчины. Северный крестьянин, берущий свое начало от старинного новгородского корня, отличался особой настойчивостью и трудолюбием; закаляя свой дух в преодолении всех стихий природы, создавал прекрасную, полную мудрости и сокровенной силы народную поэзию, величественное деревянное зодчество. Русский Север – это песенный и былинный край богатырей и тружеников, людей сурового душевного закала. В накопленный северным русским крестьянством опыт входят и события XIX века, когда началось на Севере усиленное промышленное развитие, и огненный, революционный взрыв перенесенный в первые десятилетия XX века. Северный край жил одной жизнью со всей страной в трудовые предвоенные годы, в трагическую военную пору, перенес бедствия послевоенных лет. Перемены, затрагивающие самые основы народной жизни, происходят с этими людьми и краями в наше время.

Опыт прошлого составляет подпочву творчества Федора Абрамова, отзывается в глубинах его своеобразной прозы. Что же касается жизни его родных пинежских мест, то она полно отразилась в его романах и его «малой прозе».

Как же сложилась биография самого писателя?

Федор Абрамов родился в многодетной крестьянской семье, рано оставшейся без кормильца, – отец умер, когда Федору, самому младшему, было всего два года, а старшему брату едва исполнилось пятнадцать. Мать и абрамовские братья и сестры вместе успешно вели крестьянское хозяйство, сохранили и укрепили его. Федору привелось рано узнать все стороны деревенской жизни: и косил, и пахал, и очищал от кустарника пожню. Одновременно он учился, с увлечением, настойчиво. Сначала в родной Верколе, потом в районном селе Карпо-

горы. Там он первым учеником окончил в 1938 году среднюю школу. С детства его тянула литература; он мечтал быть писателем. Путь к этому оказался неблизким и со множеством препятствий.

Поступив осенью 1938 года учиться на филологический факультет Ленинградского университета, Федор Абрамов не сразу привык к большому городу. Нужно было многое узнать, прочесть, понять. Нужно было работать, и работать с великой настойчивостью и терпением. Воли и упорства у даровитого северянина из таежной глубинки хватало. Он и здесь стал вскоре одним из первых. Когда был закончен третий курс, началась война. Он вместе со своими товарищами вступает добровольцем в ленинградское народное ополчение, принимает участие в тяжелейших боях, где сложили головы многие из его друзей. Сам Абрамов был тяжело ранен, провел страшную первую блокадную зиму в ленинградском госпитале, а затем по тающему льду Дороги жизни был вывезен на Большую землю. После скитаний по госпиталям он попадает в отпуск в родные края. То, что он увидел там, стало великим потрясением и запомнилось навсегда: русские крестьянки, проводив на фронт почти все мужское население деревни, всю тяжесть работы в тылу приняли на свои плечи. Это был поистине «второй фронт», как говорит сам писатель. Это был великий подвиг бескорыстия, самоотверженности, душевной самоотдачи. Отказывая себе во всем, русские бабы-колхозницы трудились с утра до ночи, отдавая все ради общего дела.

Вскоре Абрамов вернулся в армию. Спустя пятнадцать лет был опубликован посвященный этому времени первый роман Абрамова «Братья и сестры».

Демобилизовавшись осенью 1945 года, Федор Абрамов продолжает учение в Ленинградском университете. После окончания университета, в 1948 году, он получает предложение остаться в аспирантуре, стать научным работником, преподавателем вуза. И хотя велика была тяга к писательству, Абрамов выбрал тогда аспирантуру. Научная работа обещала материальную обеспеченность, а у Абрамова в эти годы в родной деревне трудно жила и тяжело работала родня: старший брат с семьей. Нужно было поддерживать детей погибшего на войне другого брата. Защитив диссертацию, Абрамов становится старшим преподавателем, а затем и доцентом филологического факультета ЛГУ, заведует кафедрой советской литературы.

В конце пятидесятых годов положение в деревне начинает меняться, в экономическом отношении жизнь налаживается – и вот тогда наступает время той работы, о которой он всегда мечтал, к которой втайне готовился.

Вскоре после выхода романа «Братья и сестры» Федор Абрамов расстается с университетом и становится наконец профессиональным писателем.

Ему было о чем писать.

Грандиозный замысел – показать подлинную жизнь северной деревни в течение тридцати лет (от военного времени до начала семидесятых годов) – Ф. Абрамов стремился воплотить в тетралогии «Братья и сестры», куда вошли романы «Братья и сестры» (1958), «Две зимы и три лета» (1968), «Пути-перепутья» (1973) и «Дом» (1978).

После «Тихого Дона» Михаила Шолохова и его «Поднятой целины» тетралогия Абрамова стала, пожалуй, самым крупным и глубоким исследованием сдвигов, потрясших все устои прежней крестьянской жизни, яркой и достоверной панорамой тех десятилетий, которые принесли и отрадные, и тревожные перемены в судьбах людей деревни.

Знание жизни, страстная любовь к народу, к людям родного края и гнев против всего, что искажает их судьбы, что мешает им всласть потрудиться, быть настоящими хозяевами своей земли, – вот что делает прозу Ф. Абрамова, в первую очередь его романы, крупным явлением большой русской литературы, вызывали споры в критике, признательный читательский отклик. Мужественная прямота писателя в разговоре о жизни выразилась и в таких известных повестях Абрамова, как «Вокруг да около», «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». В них он с тревогой говорил и об экономических противоречиях деревенской жизни, и о противоречиях

жизни духовной, о тех нравственных ценностях, без которых не выстоять в жизни человеку, будь то старая Милентьевна или юная и безалаберная Алька Амосова.

Нелегкая жизнь выпала на долю настоящим людям в прозе Абрамова; нет и не будет им покоя – вечным труженикам, искателям правды, мучимым отзывчивой, тревожной совестью. На этом стоит вся проза писателя.

Свое место занимают в ней и рассказы.

Прежде чем войти в мир рассказов Федора Абрамова, собранных в этой книге, подумаем вот о чем: а что это за жанр такой в литературе, что это за форма – р а с с к а з?

Чем отличается он от романа, от повести?

Говорят, что и в малой капле отражается солнце. Рассказ – это и есть такая капля. А может быть, допустимо другое сравнение: рассказ – это сгусток жизни, та ее зародышевая клетка, в которой сосредоточена могучая творческая сила. В рассказе нет развернутой истины жизни. Зато в нем схвачен, пережит и выражен момент истины, когда жизнь предстает в своем наиболее выразительном виде и художник прикасается к ее самому острому и чувствительному нерву.

Если верно, что цель искусства – правда, то в рассказе количество правды, так сказать, на единицу площади – наибольшее. Поэтому рассказ писать трудно: столько в каждой строке требует он от писателя усилий души, напряженности и точности слова, внимания к тончайшим оттенкам и в жизни человеческой, и в состоянии мира вокруг человека.

Рассказ дает нам особенно острое ощущение того, что мы существуем в мире, полном трепещущей, каждый миг новой и иной красоты. Полном непрекращающегося труда, и страдания, и любви, и борьбы, и терпения, и памяти... И чувство это собрано в одной точке – в рассказе.

Говоря это, я имею в виду и жанр рассказа вообще, в его классических образцах, и рассказы Федора Абрамова.

Любой рассказ его – это поле боя. Сражение идет в душе человека, во всей жизни вокруг. Оно сплошь и рядом требует крайнего накала всех человеческих и природных сил, оно испытывает все душевные запасы и расходует их нещадно. Но оно же создает новые средства жизни и борьбы, становится накоплением новых душевных ценностей.

Каждый рассказ Абрамова – это взгляд внутрь человека. Что *там* происходит, что движет человеческой судьбой, какие пути и почему выбирают себе люди?

Это сложный и важный вопрос для Абрамова, для любого современного художника.

Ведь это не только вопрос об отношении человека к себе. Вообще человека, существующего самого по себе, отдельной от других жизнью, нет у Абрамова. И не потому лишь, что он такого человека не любит и ему не доверяет, но потому, что он – русский художник, имеющий дело с русским человеком, человеком, по его мнению, душевно причастным своему народу, своей земле, прирожденным коллективистом, так сказать, «мирским», «соборным» человеком.

Поэтому человеческая судьба, жизнь героя для писателя – это судьба народная, это судьба тех богатств, тех накоплений, которые веками вырабатывал в себе народ. И которые для русского человека стали опорой и источником жизни.

Это в рассказах Абрамова самое главное.

Перелистаем книгу вместе.

Она открывается «Последней охотой» – одним из ранних рассказов Абрамова. Охотник Матвей Лысцев – сильный, самоуправный характер, хозяин в доме. И вот – случайная трагическая неудача. В слепом охотничьем азарте гонится он зимой на мотоцикле за матерым волком, стреляет, делает один промах, другой, хищник уходит, а Матвей страшно обмораживается и после выхода из больницы становится беспомощным инвалидом.

Он – бремя в собственном доме, от него отворачиваются прежние друзья-приятели, и впервые Матвей задумывается над жизнью: что она значит, его жизнь? И кто он сам? «Неужели он, Матвей, это только руки?... Да, все остальное – голова, глаза, сердце – все это чепуха. Так, придача к пальцам...»

С такую участью он не может смириться.

В момент, когда жизнь его непоправимо изменилась, он начинает понимать, что сила человека не только в его удачливости, а в способности преодолеть себя изнутри, усилием духа победить «невезение». И Матвей заново утверждает себя новой, последней охотой. Но не ее подробности интересуют писателя, а то, как по-новому увидел Матвей себя и своих земляков, – то обидно пренебрегавших им, то снова готовых признать его, восторженно величать, поить водкой... «Что за народ?..» – думает он. Станные, самому еще не вполне понятные мысли ворочались у него в мозгу. И он сейчас вдруг каким-то новым, обостренным взглядом, взглядом человека, пережившего те две страшные ночи, присматривался к этим, казалось бы, знакомым и в то же время незнакомым лицам...»

И вместе с этими непривычными мыслями в нем самом возрождается и становится сильнее человек, заново начинающий понимать людей и себя. Это его главная победа.

«Что за народ?..» – словно и сам писатель задает себе в каждом рассказе этот существеннейший для русского художника вопрос. В чем его сила, в чем его слабость, как жил он и как будет жить – народ русский и русский человек? Размышлением об этом одухотворена вся проза Федора Абрамова.

Всмотримся в другие его рассказы.

Сильный человек всегда привлекал писателя.

Но какой разной бывает эта сила! Вот два женских характера в рассказе «Однажды осенью», тоже по-своему сильных. Но сила хозяйственной и красивой здоровой Зины – жесткая и себялюбивая сила. Зина – слишком деловой, практичный и черствый, ничему не удивляющийся человек. Лишь ненадолго появляется перед нами другая женщина – Шура – непутевая, «блудная», по мнению Зины, а мы вместе с парнями, забежавшими на «огонек», почувствовали обаяние этого внешне не очень-то привлекательного существа. Но чем же она берет? Как раз отсутствием этой грубой житейской хватки. Тихая Шура естественно добра, отзывчива, совершенно бескорыстна, от нее идут волны душевной теплоты – и это оказывается более всего необходимо людям.

Доброта – это сила. Может быть, одна из главных душевных ценностей, созданных народом.

...Отправляется в свой дальний путь пятнадцатилетняя девчоночка. С одним-единственным рублем отеческого «благословения» идет она пешком в северную столицу («В Питер за сарафаном»). И на всем пути что запомнилось ей? Больше всего – людская доброта: «Грех обижаться. Приветили в каждой деревне... Спасибо людям. Меня как за руку до самого Питера вели...» Об этом и вспоминает на старости лет пинежская жительница Филиппьевна.

Филиппьевна, заметим кстати, – первая из старых русских людей, к которым с таким вниманием присматривается в своем творчестве Федор Абрамов. Потом будут Олена Даниловна, Михей и Иринья и другие – это лишь в рассказах. Вроде бы ничем, кроме того случая, не выделяется Филиппьевна из крестьянского ряда. Но какая в этой обычности стойкость, какое упорство в этой простоте! Филиппьевна восприняла жизнь как труд для людей, беспредельный и не требующий никаких наград. И взамен встретила такое же отношение к себе. В этом причина ее спокойствия и незлобivosti, душевной ясности.

А как остро словна Филиппьевна, сколько в ней живости ума, в этой древней уже и маленькой – «стопталась за дорогу» – «старорежимной старушке»! Тем и проложила Филиппьевна свой след в памяти людей. «Да, – завершает писатель свой рассказ о Филиппьевне, – хорошо это – оставить по себе хоть крохотную сказку, помогающую жить людям».

От того же добротного трудового крестьянского корня и Олена Даниловна («Из рассказов Олены Даниловны»). С шести лет она в няньках, к семи годам, говорит она с гордостью, у нее уже год «стажу нянишного было». Что ж, в деревне все рано начинали работать. «Не я одна, и другие в няньках жили. Привычка». Такая же работающая и совестливая Олена Даниловна в старости.

Теперь и внук ее Вовка тоже делом занят. Вместе с бабкой он спасает всякое дачное бездомное зверье, и эта «бессловесная тварь» требует от них немалых душевных забот.

Есть в рассказе и драматический мотив. Жизнь Олены Даниловны и в старости далека от безмятежного покоя.

Выпестовали как-то они с внуком оставшихся без родителей бельчат, те шли доверчиво к людям, и, воспользовавшись этим, Васька Шиш, местный пьяница, без ружья, голыми руками взял их и на эту пушнину «два дня газовал». Так неожиданно рядом с добротой совершает свое дело подлость. Мудрая старуха делает верный вывод из этого тяжелого нравственного урока: «Добро-то, оказывается, тоже надо делать умеючи»: не приручать бельчат к человеку нужно было, а дать им расти так, как требовала их природа.

Природа, ее мощь, ее красота и ее уязвимость, беззащитность – один из главных мотивов прозы Абрамова.

Природа требует, чтобы ее охраняли, с ней считались, чтобы люди умно и осторожно вмешивались в ее тысячелетиями отлаженный ход. Иначе не избежать беды.

И здесь тоже много значит древний опыт крестьянина, веками жившего бок о бок с природой, кормившегося от нее и понимающего, что нельзя рубить сук, на котором сидишь.

Об этом размышляет Абрамов в рассказе «Михей и Иринья». Старый Михей, знакомый рассказчика, в свои восемьдесят пять лет все еще работающий, после работы идет за десять верст посмотреть поставленную сетку и возвращается с пустыми руками – вся река опустошена браконьерами.

С этого начинаются у Михея воспоминания и размышления о том, как должно вести себя человеку, живущему «от природы». «Татя-покойничек смала мне твердит, – говорит Михей, – с лесу бери, да и лесу пособилай». Сквозь старые охотничьи истории, которые он вспоминает, звучит одна главная мысль: «Раз ты нечист на руку, нечего тебе и в лесу делать. Лес чистоту любит».

Для Федора Абрамова, родившегося и выросшего в лесном краю, для его героев судьба природных ценностей, в особенности родного северного леса, – одновременно и общая, и глубоко личная забота. Сохранение и приумножение «зеленого золота», умное, по-хозяйски осмотрительное его расходование – горячий патриотический долг. А для некоторых героев Абрамова в этом заключен весь смысл жизни.

О таком неистовом заступнике леса речь идет в рассказе «Сосновые дети».

В «Сосновых детях» есть такой эпизод. Рассказчик, навестивший своего старого друга лесника Игоря Чарнасова, полон тревоги о судьбе безжалостно вырубаемого леса. Его валит могучая техника. «Трелевочные тракторы, бульдозеры, могучие лесовозы, лебедки. А нынешняя бензопила «Дружба»? – восклицает рассказчик. – Ими, словно косами, выкашивают леса!» Страшная сила!

Что же ей противопоставлено? Наивные, по его мнению, самоделки лесника Чарнасова.

«Да, не много навосстанавливаешь лес такой техникой», – с грустью говорит гость, разглядывая «неуклюжие, примитивные орудия, сделанные в местной кузнице из железного лома».

Но что же он слышит в ответ? «Можно, Алексей, можно! И с такой техникой можно. Была бы только охота. Да и мотыгой дедовской можно. Я вот тебе завтра на примере покажу...»

Вот что главное – была бы охота делать добро! Главное – сила, идущая изнутри человека, духовная отзывчивость, которой столь богаты любимые герои Абрамова.

Игорь Чарнасов прошел трудный путь. Он нашел свою дорогу вопреки многим стихиям жизни. И той стихии уголовной романтики, которая когда-то в юности подхватила его и пронесла через тюрьмы; и нынешней, окружающей его стихии человеческого равнодушия, «какой-то ненависти к лесу», из-за которой он то и дело вступает в конфликт с браконьерами; и стихии выполнения планов лесозаготовок любой ценой.

Так как же должен воздействовать человек на окружающий мир?

Перед нами встает картина того, что было сотворено дедовской мотыгой, помноженной на подвижничество: «Мы стояли на опушке осинника, и перед нами простиралась громадная равнина, ошетилившаяся молодым сосняком. Вдали, на западе, равнина вползала на пологий холм, и казалось, что оттуда на нас накатывается широкая морская волна».

Это дело рук Игоря Чарнасова.

А вот другой питомник, созданный им. На гари, среди разрухи, побоища, учиненного лесоистребительной техникой, упорно течет струя живого: «Я наклоняюсь к первой борозде. Рваные, обгоревшие корни по краям, следы тракторной гусеницы, потом замечаю крохотный, сантиметра в два, пучок темно-дымчатой травки, за ним другой, третий... И вот уже пучки сливаются в жиденький, кое-где искрящийся ручеек, робко крадущийся по песчаному дну борозды.

Ручеек необычный. От ручейка пахнет смолой.

Неужели так вот и начинается сосновый бор?»

Чарнасов мечтает по всей Пинеге «зеленую революцию» пустить, и этот размах мечты соединяется у него с «удивительной любовью и жалостью, русской жалостью ко всему живому.

Нелегко, временами кажется просто невыносимо трудно складывается жизнь Игоря и его жены Наташи. Есть в ней ноты трагизма. У них нет и не будет детей – на посадках леса Наташа подорвала свое здоровье. Нелегко им противостоять лесоистреблению – и все же они не опускают рук. Герой взят писателем в высокие, патетические часы жизни, он полон веры в лучший исход человеческой борьбы за жизнь, за лес.

Многозначно и глубоко название рассказа. Больше всего Игорь любит сосну – она труженица, стоит всегда на переднем крае, принимая на себя удары непогоды, не хитрит, не ждет награды. В этой любви, в этом нежном пестовании соснового подростка – пусть не своих, а «сосновых детей» – много глубокого, неистраченного родительского чувства. С другой стороны, сами Игорь и Наташа – люди удивительного бескорыстия, стойкости и прямоты – тоже словно бы «сосновые дети». Несомненно, что образом могучего соснового бора навеяны размышления Игоря о богатырях русских, оберегавших родную землю; здесь ощутима связь времен, идея преемственности, благородная патриотическая традиция.

Во многих рассказах писатель выступает в роли путника, настойчиво ищущего среди людей истину о человеке, о жизни, – так построены «Сосновые дети», «Однажды осенью», «Могила на крутояре», «Медвежья охота», «Олешина изба»... Наблюдая за своими героями, расспрашивая их, размышляя (и нас приглашая к размышлению), писатель доходит, допытывается до сердцевины, до сокровенного внутреннего мира людей, снимает один за другим покровы с правды, потому что правда редко лежит на поверхности.

Но есть у него рассказы, в которых сокровища народного сердца и духа, драмы, пережитые людьми, раскрываются как бы сами собою. В таких рассказах присутствие автора не явно. Невидимыми рамками картины автор отделен от изображаемого. Но, в сущности, он тут же, «за кадром».

Его присутствие чувствуется по тому сосредоточенному вниманию, в тишине которого звучит рассказ матери («Сердце матери»), разворачивается история двух детей-близнецов («Пролетали лебеди»). Автор – и мы вместе с ним – присматривается, не отводя ни на секунду глаз, слушает, боясь шелохнуться, чтобы не вспугнуть исповедальную искренность рассказа,

того самовыражения души народной, которое несет в себе глубокую и обжигающую правду о человеке, о богатстве народной «почвы».

Исследуя состав этой «почвы», Абрамов-новеллист и здесь обнаруживает яркие, незаурядные характеры. Они способны к огромным перегрузкам, отличаются поразительной стойкостью и силой. И в то же время есть души такие нежные, такие ранимые, что страшно становится за их судьбу.

Две такие жизни проходят перед нами в рассказе «Пролетали лебеди». Панька и Надежда – два близнеца у старой матери, родившей их уже на сорок третьем году жизни. Надежда практична, она, поначалу всем казалось, житейски цепкий человек; а слабенький братик ее Панька – мечтатель и поэт не от мира сего. Но при всей своей физической хрупкости помешанный на «птичках» Панька, если вдуматься, – тоже по-своему сильный человек, необычный своей тягой к сверхбудничному, тонко чувствующий потаенную жизнь природы. Неодолима в людях стихийная тяга к прекрасному. Панька и умирает, стремясь постигнуть красоту лебедей, потрясенный ею и не могущий без нее жить. И без Паньки, жизнь которого, «как весенний ручеек, прошелестела по деревенской улице», – не полон становится мир деревни.

Но вот что неожиданно: следом за ним умирает и его здоровая, краснощекая, неприятельная сестра – засыхает от тоски по брату, от утраты смысла и света в жизни. И эта ее смертельная тоска – тоже глубокая одухотворенность, неумение жить только в себе и для себя.

Как прекрасные белые лебеди, пролетели они и сгинули. И глубина рассказа налита невысказанной болью – там затаилась безутешная душа матери, оставшейся навсегда с неутолимой своей мукой. И снова страдания матери, снова «Материнское сердце» – так назван один из лучших рассказов Абрамова. Пятерых сыновей унесла война у бедной Офимьи! «...Ни одного не осталось, все там... А какой лес был!» Но горше всех утрат для нее – смерть младшего, Степоськи. «Все дети у меня хорошие были – ни на одного не пообижусь, а такого не было. Чистое золото! Сколько ему – девяти годков не было – помер, а мы с девкой не знали дров да воды. Все он. За скамейку станет – самого не видно, только пила зыкает. И за грибами там, за ягодами – не надо посылать, сам бежит...»

Как же он погиб, Степоська?

Из рассказа по-новому встает картина военной страды, с новой остротой охватывает нас чувство неоплатной цены народного подвига – в каждой его человеческой капле. Мать на лесозаготовках работала так, что неделями буквально не видела лиц своих детей: затемно уходила в лес и затемно возвращалась, падая с ног от усталости, а огня в доме не было. И не заметила она, как от голода и тяжелой простуды уходила по капле жизнь из ее меньшого сына, который ни словом не жаловался на болезнь. А когда хватилась, было уже поздно.

Долгие годы казнит себя Офимья за то, что проглядела сына, но и – вот что понять нужно! – не жалеет, что целиком отдавала себя в те годы той матери, которая «всем матерям мати», отдавала жизнь свою и детей своих – Родине. Вот так и горюет, и иначе жить не смогла бы! «Тогда ведь не просто робили – денгу в лесу зашибали, – вспоминает она, – а лесную битву с врагом вели... Ох, что пережито! Теперь начнешь вспоминать, не всяк и верит».

Трудиться для Родины, ее поднимать, вливать в нее свою силу – это не «денгу зашибать». Через все рассказы так или иначе проходит эта, едва ли не главная, мысль всего абрамовского творчества, мысль патриотическая. *Родная земля нуждается в постоянном самоотверженном и упорном возделывании, в защите*, чтобы не зарастить сорной травой всяких разрушительных стихий. Так, например, разрушается и зарастает дурным ольшаником починок в девятнадцать домов, запустевает земля, отвоеванная когда-то у леса богатырским трудом старого Корнея и его сынов («Медвежья охота»). И память о них осталась, как легенда. Все они делали необходимое «российское дело». А это дело требовало от них всех сил, ибо нет культуры без земли, нет земли без человека, отдающего ей свои руки и свою душу: «Не сама же Россия распахивалась. Кто-то ее расчищал от лесов, от дебрей».

Сила человека – в связи его с большим делом, предпринятым ради того, чтобы превратить равнодушиную, суровую землю в обжитой и добрый дом. Для этого и живут люди. В том же рассказе Абрамов с тревогой присматривается к противоположному человеческому типу, бездомному Пашке-перекати-поле. А Пашке ничего не жалко, пусть все хоть снова зарастет диким лесом: «У меня сроду своего дома не было. И не будет. Что я – дурак? Руки, ноги есть, а казенная фатера найдется». Вот нашел чем хвалиться! А ведь эти настроения не такая редкость в наше время.

И еще шаблон издавна был ненавистен писателю. Отвращение вызывает у него обструганная, обезличенная гладкость, в особенности когда она стремится задавать тон, учить других, каким быть человеку. Вот такой непереносимой казенной скукой веет от «образцового пенсионера» Ковригина, скукой самоуверенной и агрессивной («Олешина изба»).

Ковригину никак не по вкусу буйство душевных сил лесоруба Олеша Рязанского, его неприглаженная вольная сила, яркая человеческая индивидуальность, которую не уложить ни в какие рамки.

Рассказчик с упоением собирает сведения об Олеше, он согласен со старым лесорубом Липатом Васильевичем, который восхищенно говорит об Олеше, что он умел прожить жизнь с забавой. Людям оставил что вспомнить – и смеется над Ковригиным: «Да его бы воля, он не то что Олешу, солнышко бы прикрыл. Больно ярко светит».

Конечно, не так прост Олеша, нелегко он в обращении, и не всегда можно сказать, куда закинут его стихии своевольной натуры. Это сила, еще не вполне себя сознающая и зачастую не умеющая собой управлять. И все же это – сила. *Индивидуальность, самобытность чувства, мысли, характера – большое человеческое богатство.*

И еще одна необходимая страница в абрамовском познании человека. Необычен на первый взгляд рассказ «Слон голубоглазый», один из немногих «городских» рассказов писателя.

О чем же он? В большом городе мы привыкли мимоходом раскланиваться с соседями по дому, по работе. А на большее и не тянет: своих дел хватает – успевай поворачиваться. Но вдруг наступает момент, когда «случайный» человек, Мария Тихоновна, над которой автор внутренне даже амбициозно посмеивался, открывается в своей душевной истине. И таким светом полна, оказывается, ее вроде бы незаметная, обыденная жизнь. Как много и, главное, как естественно, словно бы стесняясь, сделала она добра людям. От этого открытия, вдруг пережитого автором, у него, по его словам, перехватило горло. Мы – «дети железного века, века, когда исчезли, позабылись такие слова, как «сострадание», «милосердие», «жалость». Но она-то, Мария Тихоновна, знала, ведала силу этих слов». И – дел! Такие люди необходимы всегда, особенно в тяжкие минуты. И неудивительно, что рассказчик вспомнил здесь «свою» Марию Тихоновну, которая так много значила в один из отчаянных моментов его собственной судьбы – родную тетюшку Иринью. Другими увидел он голубые глаза этой своей новооткрытой «соседки»: «Где, где я видел раньше эти глаза – такие бездонные, кроткие и печальные?.. На иконе Богоматери, которую больше всего любили и почитали на Руси и которую я впервые увидел на божнице у тетюшки Ирины...»

Так порывом души своей открывает один человек свет в душе другого человека. Вот что поддерживает нас в любой беде, спасает от поверхностных суждений и одиночества.

Народная жизнь – словно море, образованное каплями, ручьями, потоками человеческих индивидуальностей, в нем слились, соединились, разгулялись на просторе волны великой народной мощи. Из моря народного черпает свою силу художник, ему он служит верой и правдой. Разговаривая с народом, он не имеет права на фальшь, равнодушие, притворное бодрчество.

Этой, одной из важных мыслей рассказа «О чем плачут лошади», рассказа, при всей своей краткости, многопланового и сложного, мы и завершаем вступление в книгу.

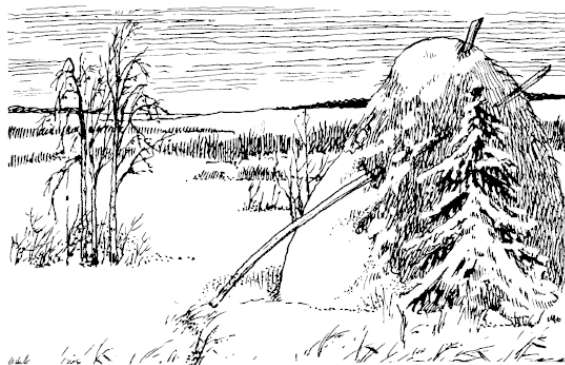
Абрамовский рассказ почти всегда краток. Но отличается он особой внутренней напряженностью. В каждом из рассказов мы чувствуем не высказанную «в лоб», но прямо возникающую из всего пережитого глубокую, нужную нашему времени мысль о спасительности неоценимых народных духовных богатств. И о том, что они создавались и продолжают создаваться ежедневным усилием, на которое должна быть способна каждая человеческая душа.

В. Акимов

Последняя охота



1



Ну, слава Богу, он дома...

Матвей кое-как высвободил ноги из оледенелых, поскрипывающих на морозе ремней, поставил к стене лыжи и натужно, с передыхом, хватаясь руками за перила, поднялся на крыльцо.

Ворота из сеней ему открыла Марья – под стать мужу, такая же крупная и широкая в кости.

– Пришел, горе мое. Зачем же вот было ходить?

Матвей молча прошел в избу. Идол – черный, с желтыми кустистыми надглазницами пес, развалившийся посреди избы, – поднял было голову и снова опустил.

Марья приняла от мужа ружье, обила голиком низкие валенки с суконными голяшками, натянутыми до пахов, помогла снять промерзший ватник. Она не спрашивала, как прошел день. Ей достаточно было взглянуть на его лицо – темное, угрюмое, с редкими, словно картечины, отсвечивающими оспинами.

– Давно он пришел? – кивнул Матвей на пса.

Марья посмотрела на стенные ходики.

– Да уж боле часу – я баню закрывала.

Что ж, пес не виноват. Какая же собака будет мерзнуть весь день в лесу, ежели хозяин, как улита, ползет по лыжне!

Матвей тяжело опустился на прилавок возле печи, вытянул длинные и прямые ноги, мохнатые от инея. Ноги ныли и гудели, как провода на погоду.

Что делать с этими ногами? Давно ли он еще целыми днями без усталости гонялся за зверем, а теперь чуть пройдет на лыжах – и хоть посреди леса ложись: бастуют, окаянные! А вечером, когда начнет разуваться, страшно взглянуть: распухли, жилы нарвало, как у беременной бабы. И вот уже два года он не выходит на свою охотничью тропу. Пустуют где-то по ручьям и лесам занесенные снегом избушки, срубленные его руками, ржавеют капканы и волчьи петли, а он в ожидании, когда окрепнут ноги, бродит с ружьишкой по мелколесью да по старым вырубкам. Бесполезно, по привычке бродит, можно сказать, тешит себя, как малый ребенок, потому что какой же зверь вокруг деревни?

Осенью прошлого года райзаготконтора премировала его мотоциклом.

«Давай-ко механизируйся, – сказал завконторой Сысоев. – А то срам – скоро в Космос полетим, а в нашем деле все ни тпру ни ну».

Матвей без радости принял нарядную, сверкающую черным лаком машину. За что же его награждать? За то, что за год семь куничек да две лиски добыл? Правда, было время – гремел Лысцев, на всю область гремел. По четыре-пять медведей в сезон убивал. А волки? «Матвей, – накажут, бывало, люди, – на Пюлу волк вышел». А Пюла, где она, эта Пюла? На краю света. На лошади скакать – и то пять дней надо. И Матвей на лыжи и напрямик – через суземы, через холмы, через болота. Передохнет, обсушится у костра и снова мнет снег, снова пробирается сквозь чащобу ельника, ныряет в котловины ручьев и речушек... Нет, никакая машина не заменит охотнику ноги. Да и легче, пожалуй, на Луну слетать, чем придумать такой вездеход, чтобы по нашим суздам колесить...

– Исть будешь але в баню сперва? – спросила Марья.

– Погоди, надо еще разуться.

Ноги в тепле немного успокоились, – на полу натаяли лужи. Мокрые суконные голяшки, перехваченные ремешками под коленкой, искрились мелкими льдинками.

Матвей положил руки – большие, обветренные руки рабочего человека – на колени и начал легонько растирать их, словно задабривая.

Марья покачала головой:

– И зачем же вот каждый день бродить? Ведь уж раз ног нету, какой из тебя охотник!

– Опять за свое? – Матвей исподлобья взглянул на жену.

– Да как? Самим исть-пить надо, и Саньке который месяц не посылаем. Стипендия-то у девки невелика.

Матвей поморщился. Да, Саньке, старшей дочери, своей любимке (она учится в техникуме в Архангельске), он за три месяца не послал ни копейки. Но где у него деньги? Выпил ли он хоть раз за этот месяц?

– Матюша, – вдруг ласково заговорила Марья и дотронулась рукой до его круглой, коротко стриженной головы, – а может, мотоцикл-то продать? Вот бы и заткнули дыры. Спрашивал у меня опять кладовщик. Хорошие, говорит, деньги дам.

– Скажи ему, что премиями Матвей Лысцев не торгует.

– Матвей Лысцев, Матвей Лысцев! – неожиданно взорвалась Марья. – Форсу-то сколько! Ну, пусть Санюшка с голоду мрет. Отец премиями не торгует, «сторожем на скотный двор не хочу»...

– Да ты что, рехнулась? В сорок-то лет хвосты коровы сторожить!

– А ты на что надеешься? – У Марьи угрожающе выпятился живот, она ходила на сносях. – С твоей-то грамотой не больно разойдешься. В контору не сядешь...

Матвей судорожно, до хруста сжал пальцы.

– Венька где? – спросил он немного погодя усталым и примирительным голосом.

– Я ему про Фому, а он про Ерему!

Марья, тяжело шлепая валеными опорками, заковыляла к занавеске. Поравнявшись с Идолем, она на ходу ткнула его ногой в бок. Пес зарычал, оскалил морду.

– Потише ты – развоевалась.

За занавеской грохнул ухват, со звоном покатилась кастрюля.

Матвей вздрагивающей рукой нашарил на припечном бруске банку с махоркой, свернул сигарку.

Да, надо на что-то решаться. Хватит с него этой музыки. Каждый день одно и то же. Конечно, она права. Хуже, чем они живут сейчас, некуда. Но, Боже ты мой, у него вся жизнь вразлом, а она хоть бы посочувствовала!

На крыльце гулко затопали ноги. Завизжали ворота – давно надо смазать медвежьим жиром, – ив избу ввалился Венька, весь в снегу, как березовый.

– Папа, мы волка видели!

– Волка? – Матвей вяло усмехнулся: Венька, истый сын охотника, любил заправлять арапа. – Может, хоть собаку?

– Ну вот еще, что я, не знаю! Полено тянет... Такой дедко – как жеребенок, качается...

Идол насторожил уши, шумно потянул воздух. Матвей в бессильной ярости скрипнул зубами. Вот времена настали! Зверь под боком ходит, а он ни с места.

– Мы это катаемся с ребятами с горы, – продолжал рассказывать, размахивая красными руками, Венька, – а он как выскочит из кустов да по дороге на реку... Ружья у меня не было, а то бы я...

– Будет вам! – оборвала сына Марья. – Вечно они со своим зверьем! Ешьте, да в баню пора.

Матвей встал – все-таки отпустили немного ноги, шагнул к столу и вдруг, прихрамывая, кинулся к ружью.

– Венька, живо заправляй мотоцикл!

– Матвей, Матвей, не сходи с ума! – закричала Марья. – Куда же ты на вечер глядя? И не ел весь день...

Матвей круто повернул голову к жене – и этого было довольно: Марья поспешила на помощь мужу.

2

Матвею ни разу не доводилось ездить на мотоцикле зимой, но дело пошло на лад. Он вихрем пронесся по деревенской улице, затем вылетел на открытый луг, по которому наискось пролегал вывешенный зимник, то есть обставленный с обеих сторон елочками. Скосив слезащиеся, в заиндевелых ресницах глаза – ветер резал лицо, – он зорко всматривался в желтую, хорошо накатанную дорогу. Следов не было. Не было их и на реке. Неужели Венька подшутил?

За рекой зимник двоился. Одна росстань – берегом – вела в райцентр, другая – направо, вдоль ручья с низкорослым кустарником в начесах сена, – в верхнюю часть района.

Матвей свернул направо. Зверю – не на заседание. Зачем же он попрется в райцентр?

Росстань – несчастные женки, которые возят по ней сено! – приворачивала к каждому кусту. Мотоцикл качало, подбрасывало, заносило в ухабах – и он взмок, пока выбрался на большак. Но и тут никаких следов. Дорога заледенела – хоть целая стая пройди по ней, не заметишь.

Он поглядел в одну сторону, поглядел в другую. Хмурые сосны, навьюченные снегом. Телеграфные столбы с провисшими мохнатыми проводами. И дорога, пустынная дорога, тускло поблескивающая санной колеей.

Нет, надо, видно, поворачивать назад. По крайней мере, в бане успеет вымыться, а после бани всегда ногам лучше. Ну а вдруг, пока он тут рассусоливает, волк преспокойно чешет себе большаком? Куда же еще ему податься? Зверь, как и человек, зимой держится дороги.

Приглушенный мотор снова взревел. И снова терзающая ноги тряска. Снова полощет его ледяным ветром.

Он проехал пять, проехал семь километров. Волк как сквозь землю провалился.

Когда за поворотом показалась Матушкина ручьевина, густо заросшая березняком, Матвей сказал себе: хватит. Напротив матерой лиственницы (прошлой осенью, еще по чернотропу, свалил тут глухаря) он остановился, заглушил мотор. У него стучали зубы, заочневшие руки, когда он снял суконные рукавицы и попытался содрать ледяную коросту с небритых щек, плохо слушались.

Вечерело. В морозной прозелени неба уже проклюнулись первые звезды.

Он потоптался, помахал руками, чтобы согреться, затем, на ходу доставая охотничий нож, болтавшийся на ремне сбоку, направился к спуску. Продавщица сельпо давно просила его сделать пару метел. Все-таки деньги – хоть на табак не придется клянчить у женки.

Он подошел к спуску и остолбенел. По ту сторону ручья в гору подымался волк – серебряными искрами играла заиндевевшая шерсть.

Ружье, где ружье? Какой дьявол надоумил снять его! Ну и конечно, пока он бегал за ружьем к мотоциклу, зверь ушел. Матвей едва не заревел от горя. Шестьсот рублей упустил!

Спуск в ручьевину заледенел еще больше, чем дорога. Мотоцикл накатывался на него, как воз на лошадь. Он упирался больными ногами, падал. Потом с остервенением пихал машину в гору. Наконец вылез из чертовой ручьевины.

Мохнатые сосны, ели. Звезды сыплются колючей крупой. Еще газу, еще! Мотоцикл с бешеным воем и треском вынес его на поляну – и тут он опять увидел волка. Он резко затормозил. В морозной тишине громом прогрохотал выстрел. Волк исчез за поворотом дороги. Через минуту он снова выстрелил и снова промазал. Что за чертовщина? Руки у него трясутся или мушка сливается в сумерках с дулом?

Матвей включил фару. Ослепить, сбить зверя мотоциклом! Давят же шоферы лисиц и зайцев колесами, а почему не попытать счастья ему? Зимняя дорога заполыхала заревом. Косматый лес, как стадо мамонтов, с оглушительным ревом полетел ему навстречу...

Это был большой, на редкость большой зверина – прав Венька! – пожалуй, ни один из убитых им волков не шел в сравнение с этим. В желтой слепящей полосе долго, наверно, с минуту, качался обвислый зад с прямым, сверкающим изморозью хвостом, который охотники называют поленом, потом свет скользнул по вздыбленному загривку, по морде, окутанной паром...

Матвей сжался пружиной. Сейчас, сейчас он собьет серого дьявола...

Внезапно дорога выгнулась дугой. Слепящие лучи фары веером рассыпались по верхушкам пушистого березняка... Постой, постой, да ведь тут где-то взвоз – крутой спуск к реке... Он изо всех сил нажал на тормоза, но было уже поздно. Машина подпрыгнула и неудержимо полетела вниз...

Мотоцикл еще чихал, бешено крутились колеса, взбивая снежную пыль, а он лежал в природном сугробе, с головой зарывшись в снег, и на все лады клял себя. Так все шло хорошо, ладно. Волк был уже, можно сказать, в руках – и надо же было ему, олуху, забыть про взвоз! Сотни, тысячи раз он ходил и ездил по этой дороге, а тут забыл...

В затылке тупо болело и даже подташнивало – наверно, стукнуло ружьем, когда падал.

Выбравшись из сугроба, Матвей стряхнул с себя снег, пнул с горя заглохший мотоцикл и безнадежно, с тоской посмотрел на зимник, уходящий вверх по реке. На километр, на два просматривалась прямая, светлая, как слюда, дорога – и хоть бы одна тень пятнила ее. Где же волк? Не мог же он за каких-то пять минут проскочить два километра?

Он повернул голову направо: там от спуска на реку есть росстань – по ней иногда ездят за сеном на тот берег. Но все же то, что он увидел, походило на чудо. По снежной равнине, залитой лунным светом, шел волк, вернее, не шел, а плыл, как темный челнок, толчками двигаясь к тому берегу. И он был всего в каких-нибудь ста метрах от него!

Матвей скинул из-за спины ружье, выстрелил. Туча снежной пыли взметнулась на реке...

Он выстрелил еще раз и побежал по дороге, к росстани. Ох, ноги, ноги! Вот когда окончательно сдали. Он брел по волчьим следам, глубоко, до пахов проваливаясь в рыхлый снег – давно не ездили по росстани, – и ему казалось, что к ногам его привязаны колодки.

Ничего, ничего, утешал он себя, самое трудное позади, а на дорогу он как-нибудь вытащит зверя... И вдруг – он уже чуял запах псины – черная туша на снегу зашевелилась.

Ах, сволочь! Хитрить, притворяться? Плохо тебе попало?

Одеревеневший палец (наверно, отморозил) долго не мог зацепить спусковой крючок. Осечка. Он снова взвел курок – и снова щелчок. Вот уж не повезет так не повезет. Он отчаянно дергал затвор, тер суконной рукавицей – все напрасно.

Пятнадцать – двадцать шагов отделяло его от волка! На том месте, где только что отлеживался раненый зверь, снег был в черных пятнах. Это кровь, волчья кровь. И, словно собака, подхлестнутая запахом свежей крови, он двинулся вперед.

Он спотыкался, падал, зарывался лицом в снег, – но как упустить такую добычу! Зверь тяжело ранен – это ясно, и стоит дотянуться прикладом до его башки, как все будет кончено.

На подъеме в берег – росстань тут начисто замело – он выронил ружье. Черт с ним и с ружьем – все равно не стреляет. Ему хватит и дубины, а возле стога всегда найдется жердь. На худой конец у него еще есть нож, большой охотничий нож. Главное сейчас – выбраться из этой проклятой трясины. Он месил, загребал руками снег, цеплялся за кусты, подтягивался и долго, как лошадь, бился в рыхлом сумете.

Наконец из-за пригорка показалась зеленоватая, высветленная луной шапка стога. Матвей, опираясь на руки, поднял голову, поискал глазами волка.

Так, все идет так, как он задумал. Волк подползал к зароду сена. Вот уж он в проломе низкой мохнатой изгороди, вот уж черная шкура зверя слилась с темным приземистым стогом...

А-а, сволочь, попался! Тут тебе и капут, тут тебе и решка. Дальше ты не уйдешь. Кончилась росстань...

Темное крыло тени, отбрасываемое стогом, почти касалось кустов, в которых лежал Матвей. Наступала решающая минута. На мгновение в мыслях его всплыла теплая изба, Марья и Венька, измученные ожиданием... Ничего, потерпите еще немного. Дайте отцу собраться с силами...

Он жадно, по-собачьи хватил губами снег, встал.

Мысленно, шаря глазами по изгороди, он уже прикидывал, как выхватит сейчас жердь, а затем со всей яростью обрушит ее на волка. А пока что рука его судорожно сжимала рукоятку ножа – на тот случай, если зверь бросится на него из засады. И вдруг – или это померещилось ему – на светлой, лунной полосе за стогом он увидел темное пятно. Пятно ползло, двигалось к лесу... Одним рывком Матвей достиг изгороди. Волка у зарода не было. Все ясно: обхитрила подлая тварь, отлежалась и ушла...

Навалившись грудью на изгородь – ноги, как подкошенные, тянули вниз, – он обвел глазами голую бережину, холодную, безжизненную, отливающую зеленым блеском, потом посмотрел на реку. Нечего и думать о возвращении обратно – ему не дойти до большой дороги, не выбраться из этих снегов.

Холодная дрожь прошибла его. Ему вдруг вспомнилось то, что случилось прошлой зимой в Пихтеме. Борька Шумилов, молодой мужик, силища – двухпудовкой крестился и справа, и слева, – вот так же, как он, вскочил под вечер на лыжи и налегке побежал на деревенский луг – там бабы видели лису-огневку. Разыгралась метель. Дома ждут Борьку весь вечер, ждут всю ночь. Назавтра вышли искать всей деревней. Ни одного следа на лугу – все загладило снегом. И только весной, когда начало таять, ребятишки откопали беднягу под Пихтемской горой. Замерз у самой деревни.

Матвей стиснул зубы, навалился на жердь – надо наломать дров, скорее развести огонь, пока еще не поздно. Жердь выгнулась, но не треснула. Тогда он принялся за колья. Левая рука, как мертвая, скользнула по колу. Он стащил зубами заледеневшую рукавицу и начал оттирать кисть сухим снегом. Пальцы не двигались. Правая рука тоже немела. Задубелый ватник звенел, как железный...

Матвей взглядом обреченного человека посмотрел вокруг. Блестит, каленой искрой переливается снег. В небе луна – ушастая, в дымном угаре. На холод... Неужели здесь, в этом проклятом снегу, подышать ему? Неужели это капкан, в который его заманил волк? На войне не подох, а тут, в трех шагах от жилья... Нет, черта с два!

Он нащупал на груди коробок со спичками и, вдруг резко оттолкнувшись от изгороди, заковылял, качаясь, к зароду.

3

Отшумела полая весенняя вода, оттрубили журавли и откричали чайки – районная больница была на окраине селенья, подле озера, в долине которого всю весну, до самого отлета на гнездовья, жирует перелетная птица, потом пришла благодатная тишина зеленого лета с белыми прохладными ночами, с хмельным запахом цветущей черемухи... И вот настал наконец день, когда Матвея выписали из больницы.

Марья, завидев его с березовой деревьягой, закусил губу, и это отравило ему всю радость выхода на волю. А затем еще камнем на душу лег деревенский праздник по случаю окончания сева. Весь деревенский люд, от мала до велика, высыпал на улицу, и как же ему не хотелось сейчас показываться на глаза землякам! Но тут, спасибо, догадалась Марья – свернула на задворки. Так, тихо, крадучись, как воры, и подъехали к дому.

В заулке у крыльца, на белом разогретом песке – давно привезли песок от реки, еще тогда, когда была ползунком Санька, – лежал Идол. Потрявоженный скрипом телеги, пес нехотя встал, сонно зевнул, потягиваясь, и поплелся к хлеву – грязный, неряшливый, со всклокоченной шерстью на боках.

– Идол, Идол, – с укором позвала Марья. – Что ты, дурак, ведь хозяин домой вернулся. Идол даже ухом не повел.

Пропала собака, подумал Матвей. Ну и пусть. Отдавать пса в чужие руки – мясо живое от себя отдирать, а с него, Матвея, хватит. За то время, что он лежал в больнице, его посвеживали немало. Сначала отхватили пальцы на правой ноге, потом оттяпали левую ступню, а потом принялись за стрижку почерневших пальцев на руках. И осталось у него два пальца – большой да указательный на правой руке. Ровно столько, чтобы самому подносить ложку ко рту да застегивать штаны...

Марья хотела было взять мужа на руки – она раздобрела после родов, налилась румяным здоровьем, да и тяжел ли он был теперь, кругом укороченный, наполовину высохший? – но Матвей воспротивился. Нет, в свою избу он войдет сам.

Глухо хрустнула, зарывшись в песок, новехонькая, вытесанная из березы, окольцованная по низу деревяшка. Матвей, поддерживаемый женой, поднялся на вымытое, застланное половиком крыльцо, передохнул, глядя на солнечную реку в зеленых берегах.

В избе было тоже намыто. Сладко пахло молодой березой, раскиданной по углам, по матице. На глазах у Матвея показались слезы.

Марья, обняв его, помогла ему сесть на прилавок у печи – так он всегда делал, когда возвращался с охоты. И все тут было по-прежнему: на печном бруске раскрытая банка с желтой махоркой, стопка нарезанной газеты, спички. Хорошая у него баба. Можно на такую положить.

Тем временем с другой половины – из летней избы – Марья вынесла ребенка, заспанного, с мокрыми от жары волосенками.

– А это Олена Матвеевна. Отца пришла встречать. Не видали таких?

У Матвея перехватило в горле. Комкая сигарку, он протянул обрубки рук к дочери.

Девочка заплакала.

– Ну еще, – рассердилась Марья. – Как отца-то встречаешь?

Она села рядом с ним, горячая, сильная, с обветренным лицом и белой напотевшей шеей. На одной руке ребенок, жадно прильнувший к полной груди, а другой рукой она обнимала мужа. Обнимала и уговаривала:

– Ничего, Матюша, проживем. Санька кончает ученье, и Венька исть не просит (Венька за неделю до выхода отца из больницы уехал в ремесленное), – и у тебя пенсия.

Под вечер с бутылкой водки заскочил Ванька-шофер. И тоже утешения. А по поводу двух Матвеевых пальцев, цепко закрючивших граненый стакан, сострил:

– Ну, дядя Мотя, считай, что одну профессию ты уже освоил. С такими крюками, как твои, на нашем фронте, – он кивнул на бутылку, – воевать можно.

Нет, черта лысого! Воевать – так уж воевать по-другому.

Перво-наперво он принялся за дровяной сарай. Гладкие сосновые поленья на растопку – это не трудно. Крюки, оказывается, могут держать не только стакан, а и нож. Затем, поразмыслив, он прибил к топорищу темляки из парусины и попробовал колоть дрова. Неважно, с мозолями, но и это получалось. А что, если и тесать попробовать? Два березовых полоза с позапрошлой осени валялись у него в сарае. Ведь если дело пойдет на лад, его завалят работой. Топор, сблινтив по затвердевшему дереву, распорол опорок...

Марья, увидав кровь, перепугалась насмерть и, сколько он ни доказывал, что это простая оплошность, не унялась, пока он совсем не забросил топор.

Подошла страда. Раньше он мог хоть сбродить к соседям (с тем посмолит за компанию самосада, с другим раздавит маленькую – все дело) или соседи заглянут к нему. А теперь караул кричи – не докричишься. Глушь. Безлюдье. Все на дальних сенокосах. И кажется, один-единственный звук на всю деревню – это Матвей, отлежав бока, скрипит своей деревягой, ковыляя по заулку. И каждый день одно и то же: грязный ребенок, ползающий в песке, да пес, обалдевший от жары. А по вечерам возвращалась с луга Марья и, присев на крыльцо, красная, разгоряченная, с налитыми молоком грудями, начинала жаловаться:

– Ох, уже я передохну. Вся-то я устала, мужик. Когда и страда эта кончится?

Он стискивал зубы, чтобы не раскричаться, не ударить жену. И в эти минуты он люто ненавидел ее. Как она не понимает, что именно этой устали, дела не хватает ему!

Но страда – это еще ничего, терпеть можно. А вот когда пали первые утренники, он взвыл, как подраненный зверь. По утрам на озимях, за деревней, трубили журавли, воздух стонал от утиного крыла. А что творилось в лесу! Пальба с утра до ночи – стрелял и старый и малый. Ванька-шофер, сваливший двух глухарей, потерял голову: «Все! Последнюю осень баранку кручу».

Заехал Сысоев – в черной скрипучей коже, перекрещенной ремнями, пухлая полевая сумка, бинокль и совершенно трезвый, – одним словом, по всей форме. Сысоев открывал охотничий сезон. Повздыхал, поразводил руками, косо посматривая на Матвееву деревягу, и укатил ключить договора в верховье Пинеги.

И еще был удар: однажды утром исчез Идол. День-два не было пса, а на третий день пришел искусанный, отошавший, снова похожий на собаку. Пришел, поглядел на своего хозяина, понюхал деревяшку и отвернулся...

Матвей запил.

Марья, опять беременная, проклинала свою судьбу, и он, опухший, с налитыми кровью глазами, подпрыгивая на деревянной ноге, коршуном налетал на нее, – вот где пригодились мослаковатые, стянутые розовыми рубцами культы!

В двадцатых числах сентября у Лысцевых на одной неделе зверь задрал корову и овцу. Черт с ними! Пропади все пропадом. Ежели он, Матвей, подыхает заживо, дак что такое коровешка и овца!

По деревне – всех удивило, как это зверь и в тот, и в другой раз выбрал из всего стада Матвееву скотину, – пошли разговоры: «Лесовик это на Матюгу рассердился. Припомнил, сколько он кровушки на своем веку пролил».

Потом газу подбавила набожная старуха Феокистовна, которая клятвенно уверяла всех: «Видела. Своими глазоньками видела. И страхи чистые! О трех ногах. Как есть оборотень».

Матвею хотелось кричать: «Врешь, старая рухлядь! Никакой не оборотень. Волк – по повадке вижу. И ничего тут особенного нет. Просто попалась зверю моя корова, а второй раз – моя овца. Погодите! Дойдет очередь и до вас».

Очередь снова пала на него. Как-то вышел он рано утром до ветру и вдруг видит: у крыльца с распоротым брюхом лежит Идол.

Суеверный страх напал на Матвея. А что, если и в самом деле зверье мстит ему? У кого еще такое бывало?

Два дня он не пил, не ел. Сидел истуканом. Глаза в землю. Черная ошестиненная голова, как солью, осыпана сединой...

Марья телеграммой вызвала дочь и сына: с отцом худо. Те приехали на последнем пароходе, на всякий случай прихватив валенки: может, обратно придется возвращаться пешком. И тут их ожидала новая беда: отца нет. Отец пропал.

4

Охотничьи уголья – глухие урочища по суземным речкам, ягодные места вокруг лесных озер и болотин, богатые шишкой ельники – с незапамятных времен закрепились за отдельными семьями. Там, где промышлял отец, промышляет его сын. И упаси Бог ступить на чужую тропу, на чужой путик! Знахари нашлют нечистую силу – так закружит в лесу, что не выберешься, а то еще хуже – посадят провинившегося на муравейник.

Последняя война поломала этот неписанный закон. Многие уголья остались без хозяев. А кроме того, в военное лихолетье на Пинеге появились волки – они пришли из тундры вслед за стадами диких оленей.

Матвей Лысцев едва ли не первый из охотников начал петлять по всему району. На триста, на четыреста километров делал заходы. И вся Верхняя Пинега знала его, в каждой деревне у него друзья-приятели. К ним-то, к этим друзьям-приятелям, и махнул Матвей, воспользовавшись подвернувшейся подводой. И перво-наперво, конечно, в Усолье – к своим спасителям. Тогда, зимой, когда случилась с ним беда, именно в Усолье заметили столб пламени, поднявшийся среди ночи у взвоза. И вот, благодаря усольцам, наткнувшимся на него возле догорающего зарода – он был уже без памяти, – Матвей и остался в живых.

Бесшабашно, хмельным угаром задымилась Матвеева жизнь – пропадать, так уж пропадать с треском! Сегодня с одним, завтра с другим, охотничьи разговоры, охотничьи воспоминания – худо-бедно можно дышать.

Но вот что скоро стали замечать люди: едва только заявится в деревню Матвей, как вокруг начинает лютовать зверь. Тут зарежет жеребенка, там залезет в овечий хлев, там прикончит собаку... Опять поползли слухи о каком-то трехногом страшилище-волке, причем добро бы звонили бабы. Иные мужики поддакивали им. А в Заозерье нашлись олухи, которые будто бы даже стреляли в него.

Матвей выходил из себя. Труссы! Сволочи! Распустили кругом волков и выдумывают черт те что. Ну-ко, кто убил хоть одного серяка за последний год?

Однажды вечером он допоздна засиделся в чайной. Трещала с похмелья голова. В карманах хоть шаром покати – медяк не звякнет. Зотька Постников, бывший агент заготконторы, выгнанный оттуда за пьянку – шакальной породы человек, – не приходил.

Заведующая чайной, молоденькая девчонка, ретиво исполняющая свои обязанности, уже раза три дотрагивалась пустой стопкой до графина: пора, мол, и совесть знать, торговая точка работает по плану. Но Матвей делал вид, что не слышит этих коммерческих призывов, и продолжал сидеть за столом в темном углу.

Вошли два древних старика, Фотей и Мина. Матвей с надеждой воззрился на них. Может, от них перепадет какая капля! Было время – кто в Заозерье не пил за его счет!

Нет, старые хрычи начали отогреваться чаем.

Слово за слово – и у них разговор про волков.

– Надо быть, к войне, – глубокомысленно прошамкал плешивый Фотей. – Мы с татей-покойничком, бывало, месяц на Усть-Юрове живем. И скажи, маета одна. Ходим, ходим, а нет зверя. А зверь-то это весь к домам выполз. На ерманьскую войну...

– Матюги Лысцева не стало – вот что, – возразил Мина.

– Ну, это так, – согласился Фотей. – Был бы Матюшка – он бы, зверь-то, чувствовал... Гроза есть...

Так, похоронили, значит. Был Матюга, и нет Матюги. А то, что он тут, в двух шагах от них... это не он. Это так, видимость одна. Ветошка. Черт побери, а что же такое он?

Матвей хмуро посмотрел на свои обрубки. Неужели он, Матвей, это только руки? Те восемь пальцев, которые отхватили ему в больнице? Да, все остальное – голова, глаза, сердце

– все это чепуха. Так, придача к пальцам... Вот оно как обернулось. Были руки-ноги целы – человек. А теперь каждый сопляк свысока на него смотрит.

Он с силой стукнул кульями по столу и встал.

Ночь была морозная, месячная. Только что выпавший снег – сразу на четверть – по-зимнему закрипел под сапогами.

Куда идти? К прохвосту Зотьке – дом его тут, рядом? Или к Никону Мерзлому? Никон – мужик непьющий и, хоть сдохни, вина не даст. Но и Зотькину рожу видеть сейчас... Матвей пошел к Никону.

Деревяга месила мягкий снег, вязла, скользила по льду на вземах. Он шел ночной деревней и клял все на свете. Клял подлеца Зотьку, который так бессовестно надул его, клял местные власти, которые ничего лучше не могли придумать, как открыть чайную на краю деревни, и заодно клял Никона – надо же дураку дубоголовому забраться на самое болото!

Наконец он доплелся до ручьевины. У Мерзлых еще не спали – в боковой избе мигал огонек.

Спустившись в ручей, Матвей уже начал было сворачивать с большой дороги на тропинку, ведущую к дому Никона, как вдруг ему почудился какой-то шорох сзади. Он оглянулся. Шагах в десяти от него стоял волк, громадный, с поднятой кверху мордой...

Только на секунду, даже меньше, задержался его взгляд на звере, но он сразу узнал его. Тот самый...

Матвей закричал что есть силы, бросился с палкой на волка. Окольцованная деревяга со звоном скользнула по наледи... А когда он поднялся, вокруг было уже пусто...

Холодный пот прошиб его. Что за чертовщина! Привиделось ему, что ли? Неужто хмелевик начался?

Он прохромыкал на дорогу. Следы, волчьи следы... Широкие петли, залитые синевой, резко выделялись на белой, еще не езженной дороге. Они уходили туда, к старой, заброшенной конюшне, которая громоздко чернела в полях у леса.

На усадьбе Никона с отчаянным воплем металась собака. Сам хозяин раза два кричал с крыльца: «Эй, кто там? Проходи. Чего торчишь?»

Матвей не двигался. Он стоял, как обугленный пень, на высветленной месяцем дороге и не сводил суженных глаз с конюшни. Да, бабы не ввали. Волк ходит. Тот самый волк... Но чего он хочет от него, проклятый? Волчья месть? Но разве мало того, что он сожрал у него корову, овцу, пса? Хочет с ним самим разделаться? Так какого лешего медлит? Вот он тут, безоружный калека, рядом с ним был...

И вдруг Матвей понял: он или волк. Жить им вдвоем на земле нельзя.

5

На другой день утром, незадолго до рассвета, Никон Мерзлый подогнал к своему дому косматую, заиндепевшую кобыленку, запряженную в розвальни.

У крыльца его уже поджидал Матвей – в полушубке, в ушанке из мохнатой собачины, на здоровой ноге валенок. Поскрипывая деревягой, он залез в розвальни, лег. Никон положил рядом с ним двустволку, тулуп, берестяную коробку с едой, затем принес связанного по ногам барана, теплого, пахнущего овечьим хлебом, и тоже положил в розвальни. Потом он прикрыл Матвея и барана соломой и выехал со двора.

Старая конюшня, как все конюшни первых колхозных лет, размещалась в гумне. Лошадей было много – безлошадники в северной деревне были наперечет, – где ж и сгуртовать их, как не в гумнах? Теперь от бывшей конюшни остались стены да несколько тесниц сверху. Все остальное: стойла, настил, двое дощатых ворот – одни на дорогу, другие на поле – давно уже растащили на дрова или приспособили для других надобностей. Пробовали сокрушить и стены – то тут, то там вгрызался в бревна топор, но, видимо, налетчики, действуя на собственный риск, опасались поднимать большой шум, а у колхозных властей тоже руки не дошли прибрать гумно.

Стоя в конюшне чуть ли не по колено в снегу, Матвей минут пять молча и сосредоточенно оглядывал стены, вдоль которых, колеблемые предрассветным ветерком, тихо и сонно шуршали черные будылья чертополоха, смотрел в белесый проем боковых ворот, к которым вплотную подступал запорошенный снегом мелкий кустарник, буйно разросшийся на здешних полях за послевоенные годы. За кустарником темной стеной вырастало чернолесье – и там где-то сейчас отлеживался зверь...

Матвей обернулся к стоявшему сзади Никону, кивнул на старые подсанки, приставленные к придорожной стене:

– Поставь сюда.

Никон поставил подсанки так, как велел Матвей, – вдоль стены, напротив ворот в поле. К среднему вязу подсанок прикрепил веревкой ружье так, чтобы, повернув его, под обстрелом оказались и те ворота, которые выходят на дорогу, и те, что обращены к чернолесью.

– Н-да, – покачал головой Никон, – охота...

– Давай животину.

Барана привязали на веревку в углу за подсанками, – снег разгребли, настлали соломы. Бедный баран с перепугу заметался, заблеял, но, получив сено, успокоился.

«Кажется, все как надо, – подумал Матвей. – Въехали в конюшню незаметно. А ежели зверь и следил откуда из кустов – обыкновенная подвода с соломой».

Глухо стукнув деревянной ногой, он лег на солому к прикладу ружья.

Светало. На бледной замети снега, присыпанной махорчатыми семенами чертополоха, отчетливо выступила голубая цепочка горностаевых следов. Заснеженные ветки кустарника торчат, как оленье рога, и кажется, там, за воротами, сгрудилось оробелое стадо и чутко и настороженно прислушивается к предрассветной тишине.

Никон сказал полупшепотом, зябко прикрывая рукой рот:

– Барана смотри не заморозь. А то моя баба... Знаешь...

Ни звука в ответ. Хрустит сено на зубах у барана, да на дороге позвякивает удилами кобыла.

Никон с какой-то непонятной робостью поднял голову к зимнему небу, перекрытому мохнатыми, в белой кухте тесницами, посмотрел еще раз на Матвея, неподвижно лежащего у ружья, нацеленного в холодную хмарь чернолесья, и пошел к лошади.

6

Никон Мерзлый жил как медведь: в будни колхозная работа с утра до вечера, в редкие праздники лежка на своем болоте: либо в избе, либо на сеновале – смотря по погоде. И никаких мужичьих развлечений: ни выпивки, ни курева. А все потому, уверяли люди, что жену его звали Улей-ягодкой. Маленькая, худущая, вечно жалующаяся на болезни, она как оса кружилась вокруг своего мужа-великана: и то не так, и это не так.

Мужики советовали:

– Задай ты ей хоть раз сабантуй – небось сразу придет в чувство.

– А-а, ладно, – отмахивался Никон. – И без того шуму на земле хватает.

И самое большое, на что отваживался он, когда уж совсем невтерпеж становился зуд жены, это ронял два-три слова:

– А-а, отстань, ржавчина...

В тот самый час, когда Никон выезжал с Матвеем со двора, Ульяна доила корову. Барана онахватила днем.

– Никон, Никон! – ворвалась она с криком в избу. – Барана волк унес.

Никон по случаю воскресенья законно лежал на кровати: босые разлапистые ноги на спинке (мала была старая отцовская кровать для его саженного тела), руки за курчавой головой, а маленькие зеленые глазки в младенческой опуши светлых ресниц нацелены на сук в потолке – верный признак того, что Никон думает.

– Чего лежишь, боров? Кому говорю? – взбеленилась Ульяна. – Барана, говорю, волк унес.

Никон нехотя сел на кровать, почесал за воротом.

– Ты того... может, в углу где недосмотрела...

– Что ты, лешак глупый! Хлев-то не лес, баран не иголка. Я уж знала, не к добру пришел вчера тот пьяница...

В конце концов Никон признался, где баран.

Ульяна, наверно, с минуту, а то и больше таращила на него острые, округлившиеся глаза, а потом ее прорвало, как худую плотину:

– Дуролом! Безмозглая образина! Да где это слыхано, чтобы на волка с бараном ходили! Да тот босяк выманил его, чтобы пропить со своими пьянчугами!

Никон сидел перед женой как провинившийся школьник, не подымая головы. В том, что Матвей не надул его, он не сомневался. Но, с другой стороны, слова жены немало смутили его, тем более что ему самому не очень серьезной представлялась затея Матвея.

К вечеру даванул мороз. Никон сходил за дровами, затопил маленькую печку.

– Вот как, тепла захотелось! – съязвила Ульяна. – А там-то как? Смотри, лешак, замерзнет тот пьяница – засудят тебя!

Назавтра утром, придя с надворья, Ульяна стала готовить поило.

– Неси, – сказала она мужу. – Баран-то ревом ревет – пить хочет.

– Эка ты, баба... – развел руками Никон. – Да молчаливый-то баран зачем ему? Надо, чтобы зверь чуял.

– Чуял, чуял! Согнал бы со всей деревни собак – еще бы лучше учуял.

Никону нечего было сказать. И в самом деле, почему Матвею не взять было собаку вместо барана? Или на такую приманку, как овца, скорее зверь попадется?

Ульяна взялась за шайку сама – разве сдвинешь с места этого дьявола? – но Никон вдруг с такой силой пнул шайку, что Ульяна вплоть до ужина – первый раз в жизни! – не раскрыла рта.

В тот день Никон не пошел на работу. Лег на кровать – глаза в потолок – и не пошевелился до вечера.

– Может, и жрать разучился? – спросила Ульяна за ужином.

Никон встал, снова затопил печку и сел к огню.

На печи заливалась сонным свистом Ульяна; собака, впущенная на ночь в избу, ворочалась, урчала, выщелкивая зубами блох...

Когда погасли в печке угли, Никон накинул полушубок, вышел на улицу. Мороз все густел. Звездное небо волчьими глазами сторожило закоченевшую землю.

Никон прошел по тропинке на дорогу и долго смотрел на черные – в мглистом сиянии – развалины конюшни. Что там сейчас делается? Жив ли Матвей? Может, замерз уже?

Весь день его неотступно преследовали эти мысли. Ему хотелось броситься в конюшню, разом оборвать эту несуразную затею – ведь нельзя же погибать человеку из-за какого-то волка! Но он хорошо запомнил слова Матвея: «Не приходи, пока не услышишь выстрелов». И еще он запомнил его глаза в ту самую ночь – глаза человека, приговорившего себя к смерти...

Томясь от неизвестности, от сознания собственного бессилия, Никон медленно бродил вокруг своего дома, то и дело поглядывая в сторону конюшни.

Под утро он замерз, зашел обогреться в избу.

Выстрелы один за другим прозвучали на рассвете. Но их не слышали ни сам Никон, спавший сидя на скамейке у печки, ни сладко похрапывающая на печи Ульяна. Только пес вдруг вскочил и громко-громко залаял на всю избу.

7

Утром к дому Никона Мерзлого сбежалась чуть ли не вся деревня: ребятишки, мужики, женки, старики.

Волк лежал посреди заулка на плотно умятом снегу. Он был страшен и сейчас, этот серый разбойник. Клыкастая морда оскалена, седая шерсть торчком стояла на короткой толстой шее. И слухи о хромоногом страшилище тоже имели под собой почву: одна передняя лапа была без подушки.

Но волк был мертв, и его сейчас никто не боялся.

Мальчишки, ухватившись за толстый негнувшийся хвост, переворачивали его с боку на бок, тянули за ноги, тыкали пальцами в оскаленную пасть, при этом визгливо вскрикивая и птясь от страха назад. Но особенно лютовали женки. Они пинали волка ногами, плевали в него, били палками.

– У-у, душегуб проклятый! Задрал у меня овцу...

– А где моя телушечка? Где?

– А у нас-то, у нас в позапрошлом году...

– Давай, давай! – подзадоривали женок мужики. – Забыли еще: до войны корова была задрана.

И мертвому волку снова и снова предъявляли счет. Все припомнили: и те злодеяния, которые совершил он, и те жертвы, в которых были повинны его родичи.

Потом, досыта натешившись мертвым зверем, толпа вдруг вспомнила о Матвее.

Матвей тяжелым, мертвым сном спал на печи, укрытый шубами. Но все же голоса, загудевшие под порогом, разбудили его.

– Проснулся?

– Ну, Матюша, крепко ты его подкосил! Эдакий дьявол – страсть!

– Как ты и додумался-то? Герой, герой!

– Талан. От Бога, – философски заключил Фотей. – Мы на днях с Миной сидим в чайной. Вся надежда, говорим, на Матюгу...

– Ульяна, жадина, что ты ему подушки-то хорошей под голову не дашь?

От кровати по рукам пошла красная, в сером пуху подушка, за ней другая.

Матвей, угрюмо прищутив темный глаз, сверху вниз смотрел на разношерстный вал, запрудивший избу. Радостные, сияющие лица, улыбки... Что за народ? Еще вчера все ворочали от него нос, шарахались, как от чумы. Переночевать не выпросишься... А сегодня... Что переменялось? Ну, убил он волка... Да разве мало он убивал их раньше? А если бы не убил?

Станные, самому еще не вполне понятные мысли ворочались у него в мозгу. И он сейчас вдруг каким-то новым, обостренным взглядом, взглядом человека, пережившего те две страшные ночи, присматривался к этим, казалось бы, знакомым и в то же время незнакомым лицам...

Из-за порога, расталкивая людей, к печи пробрался Зотька Постников, улыбающийся, с красными, разогретыми морозом щеками. Вдруг он выхватил из-за пазухи бутылку и высоко помахал ею над головами людей.

– Эй, хозяйева! Посудину!

– Надо, надо, – раздались одобрительные голоса. – Угости Матвея. Заслужил.

Радужно сверкая, забулькала водка.

Зотька, улыбаясь, подмигивая, протянул полный, с краями налитый стакан.

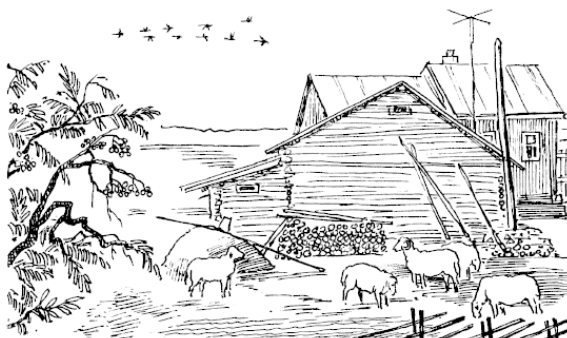
– Уйди, червяк! – спокойно сказал Матвей и повернулся на другой бок.

Зотька остоленело разинул рот, посмотрел с недоумением на примолкшую толпу и, безнадёжно махнув рукой, сказал:

– Э-эх! Пропал человек...
1962



Однажды осенью



Не знаю, то ли потому, что я вырос в деревне, то ли натура у меня такая, но, когда в унылом осеннем небе вдруг проглянет призывная голубизна, меня охватывает тоска и беспокойство перелетной птицы. И тогда единственное спасенье – немедленно отправиться в лес.

В тот день я проклинал свое безрассудство. Едва я вышел из теплого вагона на полустанок, как на меня обрушилось все худшее, что таит в себе поздняя ленинградская осень: сырость, ветер, пронизывающий до самых костей, непролазная грязь...

Я надеялся, легче станет в лесу. Но там было еще хуже. Глинистая дорога раскисла – приходилось жаться к мокрым кустам, сворачивать в сторону... Словом, когда я под вечер вышел в поля, окружавшие хутор, я едва держался на ногах.

Больше всего я боялся, что не застану дома Зину. Девушка молодая, на выданье, а сегодня была суббота. Что, если ушла в поселок? (Родители ее еще неделю назад уехали в Калининград к своим родственникам.)

К счастью, мои опасения скоро рассеялись.

Хутор – два старых финских домика с примыкавшими к ним полуразвалившимися постройками – стоял на широком холме, и я еще издали увидел знакомую картину: на зеленых лужайках серыми валунами рассыпались овцы, бродит свинья, внушительная, хорошо откормленная, и тут же – домашние гуси.

Потом, когда я подошел поближе, я увидел маленького человечка в черном, неподвижно сидевшего на верхней ступеньке крыльца. В сгущавшихся сумерках отчетливо выделялось его белое крохотное личико. Этим человечком, к моему изумлению, оказался ребенок, которому едва ли было больше пяти лет.



При моем приближении он не выказал ни страха, ни удивления и даже не пошевелился. Маленький, худенький, в низко нахлобученной на глаза ушанке, он сидел, по-воробыиному нахохлившись, и с равнодушием и стойкостью деревенского старика переносил промозглую ненасть. Впрочем, одет он был неплохо: черное ватное пальтецо с теплым отогнутым воротником, на ногах валенки, тоже черные, с новыми поблескивающими калошками.

– Ты что тут делаешь, малыш?

– Мамку жду, – тихо, не поднимая головы, ответил ребенок.

– А где твоя мамка?

– В поселок ушла.

Я уже догадывался, что мать мальчика, видимо, та самая гулена – новая жительница хутора, о которой мне недавно рассказывали мои знакомые.

– А где Зина?

– К телятам ушла.

За стеной, в помещении, услышав наши голоса, залаяла собака.

– Это Динка, – сказал мальчик. – У ней морду псы раскусали.

Грохоча в сенцах ведрами, я отыскал ключ, открыл двери. На грудь ко мне тотчас же кинулась большая теплая собака. Узнала! Она лизала мое мокрое лицо, заочевшие руки, виляла от удовольствия хвостом и, пока я ставил ружье, снимал рюкзак и зажигал маленькую лампешку, неотступно кружилась возле меня.

В кухне был образцовый порядок. Пол вымыт и застлан пестрыми домашними половиками, на плите очага поблескивала хорошо начищенная кухонная посуда, а из сумрака горницы, сверкая никелированными шарами, как ладья, выплывала высокая двухспальная кровать, накрытая белоснежным покрывалом.

Маленький Сережа – так звали мальчика – не подавал ни звука. Он сидел недалеко от порога на низенькой, будто специально для него сделанной скамеечке и, казалось, никак не реагировал на то, что попал в тепло. Только немного позже, когда собака, израсходовав на меня всю свою ласку, задела его хвостом, он негромко сказал:

– Динка, не балуй.

И опять все та же недетская оцепенелость и погруженность в себя.

– Сережа, хочешь сахара?

– Нет, – машинально, безразличным голосом ответил мальчик.

Но когда я, нагнувшись, протянул ему два белых куска, он вдруг приподнял голову, посмотрел на меня внимательно своими большими черными немигающими глазами и, тихо прошептав: «Спасибо», – взял.

Меж тем явилась Зина. Деловито и неторопливо вытерев ноги, она привычным взглядом хозяйки окинула кухню и только тогда сказала:

– Здравствуйте.

Ее тяжелая, нахолодавшая рука, на секунду задержавшись в моей, не ответила на пожатие. Зина здоровалась по всем правилам учтивости, обязательной для самостоятельных, уважающих себя девиц.

– Что ж ты, Зинаида, – начал я с укором, – ребенка на такой сырости оставила!

– А ну его. Звала на телятник – не пошел. «Мамку ждать буду». Ну и жди. Ее дождешься. Она – как кукушка. В одном гнезде обогрется – в другое летит. Все чего-то ищет, как потеряла. А нынче моду взяла: каждую субботу – в поселок. Мало ей здешних мужиков...

Мальчик вдруг поднялся со скамеечки и молча, опустив голову, постукивая калошками, пошел к двери.

– Сережа, Сережа, куда ты?

Я хотел остановить его, но мальчик с неожиданной силой оттолкнул мою руку и упрямо, не оглядываясь, продолжал двигаться к порогу.

– Это ему не понравилось, что я о матери заговорила. Иди, иди, да больше не приходи. Вишь какой! Я его кормлю, пою, а ему слова не скажи... Ладно, не задерживайте, – кивнула мне Зина. – Пришла та, выжига.

– Ну зачем ты так, Зинаида? – заговорил я, как только за мальчиком захлопнулась дверь. – Разве можно так о матери при ребенке?

– Она еще не того заслуживает, – сердито заметила Зина. – Муж весной помер – деревом замяло, без памяти ее, тварь, любил. А она, говорят, и при нем гуляла... Сережка-то неизвестно еще чей. Мужики как с ума посходили. Нашли тоже ягоду... Она живет, как птица небесная. Уж вот не вру: спроси у нее, что завтра есть будет, – не скажет. В том месяце пенсию за мужа получила. Триста рублей – деньги! А она как распорядилась? Сережке коня с хвостом купила – двести рубликов выкинула. А у самой платья переменить нету. Ох, да что о ней говорить, – Зина махнула рукой, – увидите. Прибежит. Она свежего-то мужика, как собака зверя, за версту чувствует.

Все это говорила Зина, ни на секунду не забывая о деле. Через каких-нибудь пять минут в кухне уже, весело завывая и распространяя малиновое тепло, горела плита.

На Зину приятно было смотреть. Крепкая, румянощекая, она легко ворочала чугуны, сливала пахучую, настоявшуюся на сене воду, давила вареную картошку, глубоко запустив голые руки в ведра, потом, слегка пружиня широкой спиной, несла их скотине. Сырость и холод для нее не существовали. Она выходила на двор разогретая, в одной ситцевой кофточке, и возвращалась оттуда неторопливо, удовлетворенная, с мокрыми розовыми руками.

Перед ужином она переоделась. В кухню вышла нарядная, с гладко зачесанными, напомаженными волосами, в черных лакированных лодочках со скрипом.

– Зинаида, да что с тобой сегодня? – пошутил я. – Ты как жениха встречаешь.

– А может, и жениха, – спокойно, без всякого смущения, с рассудительностью двадцатипятилетней девицы ответила Зина. – Есть тут один на примете. Ничего бы парень – с профессией. Тракторист. Да только еще ветреница не прошла. Столько зарабатывает, а кроме мотоцикла да приемника – шаром покати. Пальта себе завести не может. Ну да ничего. Отец у нас такой же был, а мама прибрала к рукам. Нынче рюмки без спроса не возьмет...

– И ты приберешь, Зиночка, – поспешил я заверить ее.

На лице Зины проглянула улыбка.

– Надо. Вашего брата не прибрать – всю жизнь маяться.

Так, полушутя-полусерьезно переговариваясь, мы собрали на стол, но, поскольку вот-вот должен был появиться жених, я предложил подождать его.

Жених действительно скоро пришел, но пришел не один, и Зина, еще в сенцах слышав топот и смех, недовольно заметила:

– Опять с друзьями. Каждый раз веселье надо.

Из трех парней, шумно ввалившихся в кухню, я сразу же узнал жениха.

Товарищи его – два двоюродных брата, оба кряжистые, краснолицые, в одинаковых ватных пиджаках до колена, в резиновых сапогах с прямыми голенищами – мне были знакомы.

В доме Зины их звали Иванами-пастухами (они и на самом деле работали в колхозе пастухами). Не знаю, понимали ли они всю безнадежность своего ухода за Зиной, но вот уже в течение двух лет регулярно каждую субботу по вечерам давили скамейку в этой кухне, а затем, словно отбыв холостяцкую повинность, исчезали на целую неделю.

Аркадий – жених Зины – выгодно отличался от своих товарищей. Это был высокий белокурый парень, явно смахивающий на того красавца тракториста, каким нередко изображают его в кино: светлый взлохмаченный чуб во весь лоб, коротенький засаленный ватник нараспашку и щеголеватые хромовые сапоги. У него и характер был под стать озорноватому киногерою. Еще переступая порог, он неожиданно навел на Зину карманный фонарик, и когда та, жмурясь и отмахиваясь руками, что-то недовольно заворчала, Аркадий весело рассмеялся, показывая белые, крепкие зубы.

Вид бутылки «Столичной», которую я достал из рюкзака, сразу же вызвал у ребят повышенное настроение. Но только я налил в рюмки и открыл рот, чтобы сказать что-нибудь по случаю нашего знакомства, в сенцах снова зашуршал веник.

– Идет, без нее уж не обойдется, – сказала Зина и строго поглядела на жениха, живо обернувшегося на стук.

Два Ивана, не расставаясь с рюмками, хмуро глянули на порог.

В кухню вошла женщина:

– Не помешала?

Никто не отвечал ей. Зина демонстративно уткнулась в вязанье, которое предусмотрительно захватила, садясь за стол. Два Ивана, очень недовольные оттяжкой начатого дела, тяжело вздохнули.

Откровенно говоря, я тоже не обрадовался непрошеной гостье. В памяти моей все еще свежа была встреча с заброшенным ребенком. Но надо же было как-то разрядить возникшую неловкость. Поздороваться, по крайней мере.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.